

Е.Д. ТРУХАН

ПИСЬМА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 1855—1857 ГГ.: ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

Богатое и разнообразное эпистолярное наследие Достоевского давно привлекало исследователей. Похоже, почти каждый уважающий себя достоевковед посчитал важным оставить несколько небольших сюжетов по этому поводу. Выполненные в русле литературоведческих методик XIX — нач. XX вв., они формируют целые пласты богатого, но довольно пестрого, не приведенного в состояние диалога материала. Лишь немногие посвятили свои труды собственно письмам Достоевского: разысканию утраченных, публикации ранее не известных, классификации и — особенно — описанию и определению места в жизни и творчестве различных эпистолографических этапов (Фридендер Г.М., Долинин А.С., Туниманов В.А., Белов С.В., Бельчиков Н.Ф., Баршт К.А., Зильберштейн И.С., Жид А., де Вогюэ и др.).

Среди наименее изученных этапов эпистолярной прозы — письма 1855-1857 гг., относящиеся к событиям в Кузнецке. Данная часть эпистолярного наследия до сих пор не подвергалась научному описанию, выявлению отличительных признаков и характерных свойств, что оставило ее во многом непонятной и загадочной. Этому способствовало несколько факторов.

Первое. Выделенная группа не представляет собой самостоятельный этап эпистолярной прозы. По единственной классификации писем Ф.М. Достоевского, осуществленной в 80-е годы Г.М. Фридендером, она входит в обширный и достаточно условный «послекаторжный период». «С этого времени, — пишет исследователь, — возобновляется переписка Достоевского с родными, и у него во время жизни в Омске, Семипалатинске, Твери (1854-1859) возникает новый круг корреспондентов — жена декабриста Н.Д. Фонвизина, А.Е. Врангель, Е.И. Якушкин, М.Д. Исасва-Достоевская, ее отец Д.С. Константин, Ч.Ч. Валиханов, Э.И. Тотлсен, А.Т. Гейбович»¹. В отличие от других периодов, «послекаторжный» отличается необыкновенной событийной множественностью (выход Достоевского из острога, окончание каторжных работ; бессрочная служба в Семипалатинске; любовь к М.Д. Исасвой, кузнецкие дни, венчание; жизнь в Семипалатинске после свадьбы; переезд в Тверь),

синкретичностью, неиерархичностью фактов, невыявленностью их значения в реальном и романном мирах Ф.М. Достоевского. Истоки такого положения дел кроются в отсутствии необходимого материала, ярко и полновестно раскрывающего каждое из событий.

Второе. Традиционно считается, что этапы эпистолярной прозы должны быть подкреплены значительными событиями, соотноситься с длительными и плодотворными периодами жизни и творчества писателя. К сожалению, несмотря на множество попыток, в научном обороте пока прочно не укрепилось понятие «кузнецкий период Достоевского», главным поводом о котором остаются письма 1855-1857 гг. Этому способствовало, с одной стороны, отсутствие видимого творческого процесса, закреплённого литературными формами (в Кузнецке Достоевский не написал ни строчки), а с другой стороны, бытование кузнецких событий во времени. По мнению М.М. Бахтина, любой поступок, в широком смысле этого слова, «расколот на объективное смысловое содержание и субъективный процесс свершения. Из первого осколка создается единое и действительно великодушное в своей строгой ясности системное единство культуры, из второго, если он не выбрасывается за совершенной непригодностью (за вычетом смыслового содержания — чисто и полностью субъективный), можно в лучшем случае выжать и принять некое эстетическое и теоретическое нечто вроде Бергсонова *duree* («длительность»), единого *elan vital* («жизненного порыва»)»². В нашем случае в поле культуры попадают скупые факты биографии Достоевского, сжатые до церковного — «венчание», бытового — «женитьба», банального (или романтического?) — «очередной номер в донжуанском списке писателя»; для второго «осколка», кажется, не остается практически ничего. С точки зрения обывателя, скептика, столь сухой и потерявший в вековых смятениях «эстетическое и теоретическое нечто» поступок не заслуживает достойного внимания. К тому же, не в пользу «кузнецкого периода» выступают и его хронологические рамки: Достоевский совершил в Кузнецк всего три поездки (июнь 1856, ноябрь 1856, январь-февраль 1857) и, по подсчетам красведов, провел в городе, в общей сложности, 22 дня. Исследовательская осторожность не позволяет назвать во всеуслышание столь краткие сроки и малочисленные, скудные факты «кузнецким периодом». Только тщательное изучение источников, связанных с темой «Достоевский в Кузнецке», прежде всего — писем, сбор разнообразных материалов, доносящих минуты и годы провинции XIX в., а также постоянная обращенность поступка в творчество писателя, думается, могут помочь его «реабилитации» и содействовать повсеместному признанию особенного «кузнецкого периода».

Этими проблемами уже занимаются красведы, архивисты, писатели, журналисты: Кушникова М.М., Тогулев В.В., Якушин Н.И., Шадрин А.С., Никонова Л.А., Сербин Л.Г. и др. В разное время на страницах их документально-биографических, научно-просветительских, художественных, художественно-публицистических, религиозно-философских работ, а также в

трудах Белова С.В., Туниманова В.А., Слонима М.Л., Жида А., проблема писем Достоевского 1855-1857 гг. не раз возникала как сопутствующая. Авторами было высказано немало ценных замечаний по поводу отдельных особенностей эпистолярного наследия Ф.М. Достоевского того времени, а сами письма представлены в качестве психологически точного дневника, живого комментария к выцветшему факту, соотнесены с литературными родами. Но данные аспекты не исчерпали темы разговора, напротив, подготовили ее. В настоящее время назрела необходимость посмотреть на группу писем 1855-1857 гг. как на оформленную целостность (прежде всего — самим Достоевским), имеющую свои неповторимые черты, определить ее место в контексте эпистолярного и художественного творчества.

Третье. Довершает все сложности изучения наличие в письмах 1855-1857 гг. множества утрат, неизвестностей, пустот. Из двухлетней интенсивнейшей переписки сохранилось около 40 писем Ф.М. Достоевского к различным адресатам, причем, самыми пострадавшими оказались послания в Кузнецк к М.Д. Исаевой: до нас дошло только одно от 4 июня 1855 г. Хочется верить, что и другие будут найдены. Пусть среди бумаг цензуры, переписанные чьей-то чужой, вероломно вторгшейся в частную жизнь рукой, но сохраненные...

* * *

«Второй дебют» писателя Достоевского, явившегося из забвения Мертвого дома, «как бы вышедшего из могилы и в саване блуждающего среди людей живых»³, начинается не только за семипалатинским письменным столом, когда параллельно и сразу воплощаются два замысла — «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели». Вступление в литературу происходит гораздо раньше и гораздо блистательней — во времена кузнецких событий.

После долгого вынужденного перерыва писатель оказывается охваченным внезапно сомкнувшимися бытийными, бытовыми, эстетическими проблемами, которые ярко иллюстрирует тематическое содержание писем: бытовые и служебные просьбы, жалобы, даже мольбы, благодарения, связанные с устройством собственной судьбы (Якушкину Е.И., Достоевскому М.М., Анненковой А.П., Карспиной В.М., Тотлебену Э.И., Ждан-Пушкину И.В., Валиханову Ч.Ч., Майкову А.Н.); семейная переписка (Достоевскому М.М., Карспиной В.М., Константу В.Д., Константу Д.С.); интимная, большей частью утраченная переписка (Исаевой М.Д.); интимно-дружеские послания (Врангелю А.Е.); письма, граничащие с эстетическими манифестами (Майкову А.Н.). Несомненно, что существует смешение выделенных групп, но это не перечеркивает данную классификацию, а указывает на еще более сложное положение внутренней жизни художника. Группы писем тесно связаны друг с другом: это — различные аспекты решения всеохватывающей, самой широкой проблемы, которой целиком и полностью поглощен Достоевский — проблемы эстетической: возрождение, воскре-

сение в литературе. Она прямо или подтекстово присутствует везде, о чем бы он не говорил (своих нуждах, любви к женщине, первых творческих опытах после четырехлетнего подполья, «провала», о поисках старых знакомств и новых ориентиров в литературной, общественной среде и пр.). обнажает кризисное состояние писателя. Сущность этого кризиса емко сформулировал Волгин И.Л.: Достоевскому следовало явиться перед публикой «не только во всем блеске неутраченного и даже преумноженного таланта, избегнув перепадов и самоповторений, не только настоятельно напомнить о своем писательском существовании, но и «перекрыть» собственные художественные достижения. Надо было отважиться на риск, на эксперимент, взять новый тон, установить новую точку зрения. /.../ найти необычные изобразительные средства»⁴.

Поиск нового, действительно, вылился в эксперимент, особенный и жестокий — эксперимент над собой. Как будто сама реальность пришла на помощь художнику. Захваченная законами искусства, она «подказала» новые формы. «Кажется, — пишет К. Мочульский, припоминая все события в Кузнецке, — что жизнь подражает литературе, действительность предвзвешивает вымысел»⁵.

Формой непосредственного соприкосновения двух различных миров — реальности и литературы — становится письмо; категория не бытовая, а уже эстетическая. Письмо перерастает рамки простого информационного сообщения и превращается в листок творческой тетради Достоевского 1855-1857 гг., еще не являющийся художественным писанием. Письмо становится экспериментальным пространством, где зарождаются новые принципы эстетики.

Прежде всего, этот процесс проявляется в соотношении внешнего и внутреннего события в «кузнецкий период». Внешне предельно простые, сконцентрированные до записи в метрической книге, до житейского — «женитьба», на самом деле, они чреватые мощным внутренним взрывом. Создается своеобразный эффект пружины: утаенная, свернутая до точки внутренняя жизнь писателя рвется в пространство. За традиционным биографическим фактом — падения и взлеты «грозного чувства», классический любовный треугольник и его неклассическое разрешение, братание с соперником, атмосфера конклавных сцен — сплетен, скандалов, споров, невозможность писать, ибо захвачен реальным романом, «сам пишешься»⁶, постоянное состояние «на пределе», прислушивание к пульсу изменчивого бытия, готовность отдать себя в жертву ради любви и готовность принять чью-то жертву, мучить самому, причинять страдание.

Такое соотношение внутри события сливается в письмах 1855-1857 гг. с особой эмоциональной напряженностью — одним из характерных качеств позднего Достоевского, связанных со способностью долго удерживать ее на небольшом отрезке времени и пространства, расширяя, таким образом, возможности реального хронотопа. Эмоциональная напряженность находится в тесном контакте с основным тоном переписки Достоев-

ского, о котором говорил французский исследователь А. Жид: «...Каждое из его писем — вопль: у него больше ничего не осталось: он дошел до крайности; он просит. Мало сказать «вопл»... это нескончаемый и однообразный стон отчаяния; он просит неумело, без всякой гордости, без всякой иронии; он просит и не умеет просить. Он умоляет; он торопит; он возвращается все к тому же, настаивает, подробно описывает свои нужды...»⁷ Письма мучительны и для Достоевского, и для его адресатов: «Я написал ей письмо в тот вечер, ужасное, отчаянное. Бедненькая! Ангел мой! Она и так больна, а я растерзал ее! Я, может быть, убил ее этим письмом. Я сказал, что я умру, если лишусь ее. Тут были и угрозы и ласки и униженные просьбы, не знаю что» (28, I; 212). Но за мучениями Достоевского-человка уже видится спасение Достоевского-литератора, а за не интересной современному обывателю биографической хроникой — событие необыкновенной глубины и силы, вырастающее в многодневное нефизическое «пробывание» писателя в Кузнецке, в «прикованность» к провинциальному городку эмоцией, чувством, мыслью. Позднее рамки 22-х дней еще более расширяются во времени и пространстве: мотивы кузнецкой драмы, отголоски и тайнопись кузнецкой любви находят в «Сибирской тетради», «Униженных и оскорбленных», «Преступлении и наказании», «Вечном муже», «Идиоте», «Братьях Карамазовых», «Кроткой». Сами письма 1855-1857 гг. не выходят за рамки закона художественного творчества, представляющего как бы эффект пружины: «точка-пространство». При соотношении с «Сибирской тетрадью» они прочтываются как прописанный текст-разгадка и зашифрованная запись, как постепенно разворачивающееся, мерно текущее пространство и его таинственный знак «Eheu!» (Увы!)⁸. Начиная с «Села Степанчиково», в творчестве Достоевского, особенно его знаменитом «Пятикнижии», мы встретим почти повсеместно действие закона уплотненности времени и пространства, который был закреплен письмами и событиями в Кузнецке 1855-1857 гг.

По мысли филолога, последователя формальной школы Н.С. Трубецкого, «Достоевский оставался писателем и когда писал частные письма»⁹, т.е. проявлял себя даже в акте бытового поведения как художник, мыслил образами, творил. В письмах 1855-1857 гг. взгляд художника становится доминирующим. Он объединяет их в целостность с определенной экспрессивно-эмоциональной окраской и характеризует как летопись «грозного чувства» — взрывное, опасное состояние предела, созвучное с грозой, сплав света и тьмы, нечто одновременно угрожающее и очищающее. Подобное встречается в эпистолярном наследии Достоевского впервые. По меткому замечанию Белова С.В. и Туниманова В.А., аналогом «грозному чувству» может служить только страстная игра на рулетке — заграничное увлечение Достоевского, расцениваемая как одна из первых стадий эстетического творчества. С Достоевским и должно было произойти нечто сверхъестественное по масштабу и силе, что избавило бы от косности языка, воскресило литературное имя. Вербальным проявлением предельного состоя-

ния души — «грозного чувства» — становятся новые оригинальные качества письма 1855-1857 гг., сохраненные писателем позднее: предельная напряженность писания, без отдыха, без воздуха; постоянные возвращения в попытке сказать быстрее, яснее, проще, заканчивающиеся бесконечным затягиванием; стремление уместить на лист сразу несколько параллельно идущих мыслей; появление огромных конструкций-периодов, перемежающихся короткими восклицаниями и вопрошениями, что обнажает стремительность фразы, с трудом догоняющей воображение и мысль автора.

Слово, найденное Достоевским, выступает субстанцией синтезирующей: оно включает письма 1855-1857 гг. в различные культурные контексты (романтический, христианский). Рядом с традиционными знаками романтизма — предчувствием любви и образа Прекрасной Дамы, экзотическим местом встречи, необычным положением возлюбленных (бессрочный бесправный солдат и женщина, связанная узами брака), познанием друг друга через переписку (часть культурного поведения времени), смертью одного из действующих лиц жизненной драмы, появлением соперника, почти романтической утратой-уничтожением писем влюбленных и др., — а также знаками христианской культуры — любовью-страданием, братско-сестринскими отношениями к ближнему, жертвенностью, восприятием земной женщины через христианские образы и др. — соседствуют неровные болезненные «земные» отношения.

Слово-образ («грозное чувство»), которым писатель определил свое состояние, выводит письма 1855-1857 гг. за рамки этих восприятий культуры, проливает свет и на дальнейшие события: видимо, по своей природе «грозное чувство» не может, подобно грозе, быть долгим, растянутым, оно ограничено временными рамками, быстро сгорает в связи с интенсивностью переживания. Где-то между первой (июнь 1856) и второй (ноябрь 1856) поездками в Кузнецк в чувстве Достоевского к Исаевой происходят перемены: мы ощущаем, как в письмах Достоевского постепенно исчезает движение по бесконечному кругу одних и тех же мучительных мыслей, эмоций; как целостность вполне романтического чувства раскалывается, постепенно рассыпается. В письме к Врангелю от 23 мая 1856 года явственно намечена высшая точка во внутреннем состоянии писателя: «Мое положение критическое. Надобно переговорить и все решить разом! Я в ужасном волнении» (28, I; 233-234). И уже в следующем письме — пауза-разрыв: «Итак, теперь я могу надеяться крепко, но... уже поздно!» (28, I; 234). Вместо успокоения от надежды или надежности положения в будущем, вместо эмоционального всплеска — спад; рассудочное разумное объяснение своим состояниям, оценки событиям и лицам, трезвые размышления и расчеты, бытовые засадающие мелочи, усталость. Само событие — венчание — долженствующее стать порой расцвета, не становится, по традиции, кульминационным. Совершенно парадоксально оно включается в письмах 1855-1856 гг. в контекст постфактума, эпилога, отголоска «грозного чувства». В этой связи следует вспомнить, что подобное смешение будет художествен-

но воплощено в одном из самых автобиографичных романов — «Идиоте»: кульминация драмы сольется с ее эпилогом...

Знаменательно, что Достоевский ощущает приближение «грозного чувства» задолго до его появления и окончательного именованя. «Я в каком-то ожидании чего-то: я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное» (28, I: 177), — пишет он в 1854 г. Н.Д. Фонвизиной, определяя, угадывая имя чувства, но лишь в качестве одного из вариантов. В 1856 г. этот вариант становится законченной мыслью: «Неподвижная идея в моей голове! Едва понимаю, как живу и что мне говорят. О, не дай Господи никому этого страшного, грозного чувства» (28, I: 212). Движение Достоевского от едва уловимой мысли к имени, связанному с «неподвижной идеей», само по себе предвещает гибель «грозного чувства». Подобно своим персонажам, писатель проходит путь, на котором ему придется столкнуться со многими неизбежными утратами и потерями, со многими почти не объяснимыми переменами.

Нет, любовь Достоевского к Исаевой не исчезает, просто она обретает новые модификации и несколько по-другому высвечивает действующие лица кузнецкой драмы.

Эпилог кузнецкой драмы, прощание Достоевского с Исаевой начинается уже за четыре месяца до свадьбы, в письме к Врангелю от 9 ноября 1856 г. В нем Достоевским дана очень ценная функционально-культурологическая, эстетическая характеристика: «Она была свет моей жизни. Она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы и воскресила мою душу. Она воскресила во мне все существование, потому что я встретил ее. Но если б вы знали, что это за ангел, что за душа! что за сердце!» (28, I: 243). В оценке Достоевского сквозит какая-то пронзительная обреченность, хотя речь идет о свете и воскресении, о женщине-ангеле, ниспосланной свыше. Наверное, эти смыслы привносят упор на прошедшее время: «была», «явилась», «воскресила». Чувство прощания с любимой, гибели брака, его несчастливой исхода усиливается в письмах после венчания: «живем мы по-темному и покамест не имеем причин жаловаться на судьбу» (28, I: 286); «живем по-маленьку, покамест хорошо» (28, I: 286); «живем кое-как, больших знакомств не делаем, деньги бережем (хотя они идут ужасно) и надеемся на будущее, которое, если угодно Богу и Монарху, устроится» (28, I: 277). И еще более пессимистично, даже трагично: «все кончено» трижды повторяет Достоевский в письмах к разным корреспондентам (имеется ввиду разрешение кузнецких событий), сознательно исправляя в одном из посланий слово «окончилось» на «кончилось» (28, I: 274). Возникает мотив болезни, угасания, опустошенности, предчувствия смерти, конечности земного существования. «Знаете ли, у меня есть какой-то предрассудок, предчувствие, что я должен скоро умереть. Такие предчувствия бывают почти

всегда от мнительности; но уверяю Вас, что я в этом случае не мнителен и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная. Мне кажется, что я уже все прожил на свете и что более ничего не будет, к чему можно стремиться» (28, I; 293), — исповедуется адресант спустя только полгода после венчания сестре Марии Дмитриевны В.Д. Констант. Кажется, все вышеприведенные кусочки писем предваряют известную запись-прощание Ф.М. Достоевского у гроба М.Д. Исаевой от 16 апреля 1864 г. ...

В характеристике, данной Исаевой, Достоевский мыслит не как обычный влюбленный, но как возрождающийся художник, почувствовавший прилив творческих сил. Он оценивает объект любви в соответствии с законами искусства. Перед нами — не метафора, не сравнение, а нечто, вовлекающее реального человека в поле культуры и выводящее из мира сиюминутного, бренного. «Решив» живого человека в ключе своих ранних досемипалатинских предчувствий («Бедные люди», «Белые ночи», «Неточка Незванова»), Достоевский окончательно теряет его в быту, но вновь обретает тени и лики в образах женщин с бледными щеками, лихорадочным взором, резкими порывистыми движениями — Наташе («Униженные и оскорбленные»), Катерине Ивановне Мармеладовой («Преступление и наказание»), хрупкой девушке («Кроткая»), отчасти — Настасье Филипповне («Идиот»), Катерине («Братья Карамазовы») и др.

В письмах Достоевского 1855-1857 гг. образ женщины причудливо смыкается с «жаждой веры» и с животрепещущей темой всего послекаторжного периода, темой эстетической — возрождением, воскресением, вторым пришествием в литературу. Возможно, соприкосновения столь различных пластов, явлений в какой-то мере послужило небывалому успеху Достоевского в кругу русских религиозных философов и символистов начала XX в., для которых жизнь и творчество, философия и эстетика, религиозное и женское начала были неотделимы, «прорастали» друг в друга.

Взгляд Достоевского-художника касается и другого лица, косвенно причастного к Кузнецку — А.Е. Врангеля. Пытаясь уловить нюансы множества душевных писательских порывов, мы подчас забываем, что имеем дело с письмами-двойниками, вторичными отблесками событий — письмами к Врангелю, а не Исаевой. Вспомнив об этом, невольно задаешься вопросами: почему стало возможным появление писем-двойников (т.е., практически. большинства писем 1855-1857 гг.)? Почему Достоевскому в то время была так необходима фигура друга, которому адресант — обычно скрытый в своем индивидуальном поведении — вторично исповедовался со всеми подробностями и деталями? Неужели мало терзаний, болезненно-мучительных писем к Исаевой и каждодневного преодоления «странного, непобедимого, невозможного отвращения писать письма»?

Конечно, всему можно найти объяснения. Сближение Достоевского и Врангеля произошло после каторги, в тот момент, когда онемевшая не по собственной воле душа требовала исповедального излияния. Брат, сестры Достоевского были далеко, их разделяли время и пространство. Врангель

же оказался одним из немногих, кто под серой шинелью бывшего каторжника разглядел горячее сердце, требующее полноценного общения, сочувствия, понимания. К тому же, он лучше других мог понять состояние Достоевского: сам находился в подобной ситуации, был влюблен в замужнюю женщину — Е.И. Гернгросс.

Но достаточно ли этих бытовых объяснений? Думается, гораздо внятнее и понятнее об этом могли бы рассказать законы творчества. Преодолевая время письменной фиксации, обращаясь всякий раз в письмах к Врангелю, Достоевский, с одной стороны, бессознательно продолжал работу над темой двойничества, возникшей в раннем творчестве («Двойник») и значительно углубившейся позднее («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы»), а с другой стороны, вероятнее всего, уже тогда, в 1855-1857 гг. он ощущал необходимость самопоправки, чужого слова. Возможно, сам того не подозревая, он формировал новый художественный мир, мир полифоничный, где собственно события, истины не существуют, но она появляется через массу наслоений, мнений, правок, взглядов извне или изнутри. Письма Достоевского к Врангелю, развивающие лучшие традиции дружеского послания нач. XIX в., оказываются не столько мучительными, сколько спасительными для адресанта. С фигурой друга ассоциируется слово отстраненное, высказанное через время, слово, представляющее движение души из круга событий. Фигура друга дает возможность абстрагироваться от факта, посмотреть со стороны, не быть непосредственным участником. Уже в переписке с Врангелем 1855-1857 гг. возникает знакомая по романам раздвоенность между «я» и созданным образом рассказчика, хроникера. Д.С. Лихачев писал по этому поводу так: «[Достоевский] создавал не только многочисленных рассказчиков и хроникеров своих произведений, но и творил самого себя. Жизнь была для него в какой-то мере «самотворчеством», и между ним и его рассказчиком была некая духовная близость... Достоевскому же рассказчики и хроникеры были нужны, чтобы ввести самого себя в действие, максимально это действие объективировать... Достоевский придумывал не рассказчиков: он придумывал самого себя как рассказчика событий. Он играл в рассказчика, перевоплощался в рассказчика, в репортера, в следователя»¹⁰.

Разговор о письмах Достоевского времен кузнецких событий только начинается. Сколько еще почти странных созвучий, соприкосновений можно обнаружить, сколько неожиданных ассоциаций, поворотов мысли подвигнет нас к пониманию загадочной писательской души...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Фридендер Г.М. Письма Достоевского // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. — Л., 1985. — Т. 28:1. — С.10.

² Бахтин М.М. К философии поступка // Бахтин М.М. Работы 20-ых годов. — Киев, 1994. — С. 26.

³ Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. — М., 1994. — С. 242.

⁴ Волгин И.Л. Долг, равный жизни // Достоевский Ф.М. Село Степанчиково и его обитатели. Игрок. Записки из подполья. — М., 1986. — С. 7.

⁵ Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. — М., 1995. — С. 296.

⁶ В письме к М.М. Достоевскому от 9 ноября 1856 г. Ф.М. Достоевский признавался: «Друг мой, я был в таком волнении последний год, в такой тоске и муке, что решительно не мог заниматься порядочно. Я бросил все, что и начал писать, но писал урывками» (28, I; 246).

⁷ Жид А. Достоевский. Эссе. — Томск, 1994. — С. 12.

⁸ Подробнее об этом см.: Владимирцев В.П., Орнатская Т.И. Сибирская записная тетрадь Достоевского // Достоевский Ф.М. Моя тетрадка каторжная. — Красноярск, 1985. — С. 38-58.

⁹ Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. — М., 1995. — С. 620.

¹⁰ Лихачев Д.С. Литература-реальность-литература. — Л., 1981. — С. 56.